

сещаемых и аристократических кафе-кондитерских, снабженное собственной пекарней.

Не менее славен и соседний дом Руссова, в первом этаже которого с конца XIX века размещается популярная "Аптека Гаевского". Он построен в 1897 году архитектором, преподавателем, художником В.И. Шмидтом по заказу почтенного мецената А.П. Руссова. Александр Петрович, обладатель весьма значительного состояния, заключавшегося в обширных земельных угодьях, неисчислимых стадах тонкорунных овец, предприятиях, банковских бумагах, недвижимости, более всего известен как коллекционер произведений искусства, прежде всего, живописи и графики, устроитель первой общедоступной галереи в Одессе. Помимо легендарной аптеки А. Гаевского и А. Поповского, перебравшейся сюда из упоминавшегося дома Синицыной (Крамаревой), здесь квартировали: ресторан "Южный", представительство "Южнобережных вин в Алушке", представительство и склад Дитятковского товарищества писчебумажных фабрик, отделение крупнейшего торгового дома "В. Нурик", занимавшегося реализацией медицинских препаратов и техники, элитарный магазин кожаных изделий М.Э. Ваккер (кошельки, портмоне, бумажники, папки), салон дамских рукоделий Р. Циммерман и др.

Как свидетельствуют первоисточники, в доходных домах, когда-то выстроенных на Коблевской, Садовой, Княжеской, Херсонской, Елисаветинской, Софиевской и примыкающей к ним части Преображенской, селились преимущественно представители интеллектуальной элиты: успешные врачи и адвокаты, инженеры и архитекторы, литераторы и художники, высокопоставленные чиновники и военные, преподаватели университета, высших женских курсов, классических и престижных частных гимназий, просвещенные коммерсанты. Именно тогда в просторечии и утвердилось словосочетание "тихий центр", ныне прочно вошедшее в обиход агентов по реализации недвижимости. Достаточно заглянуть во дворы упомянутых улиц, а равно пересекающих их Дворянской, частично — Торговой, Конной, Ольгиевской и др., чтобы убедиться, сколько многообещающих предложений регулярно расклеивают желающие приобрести жилье именно здесь. Лежащие под углом в 45 градусов к громогласному эпицентру, тихие аристократические улочки, кажется, сохраняют неторопливый темп, щадящий здоровье режим младенчества Южной Пальмиры.



Дома моего детства

Из книги воспоминаний

Мои первые детские впечатления связаны с домом на углу улиц Островидова и Красной Гвардии, теперь Новосельского, 43. В этом доме я прожил до семилетнего возраста, и память сохранила лишь куски жизни того времени.

Комната, в которой мы жили, видится мне смутно. Небольшая, квадратная и вся какая-то серая, кажется, сырая. Хорошо помню только окно из-за его необычности. Величиной оно было в половину обыкновенного среднего окна, располагалось под самым потолком и выходило на крышу соседнего более низкого дома. Оно запечатлелось потому, что я, много болевший, часто вместо прогулки сидел на широком подоконнике, смотрел на облака, на пролетавших птиц, на то небольшое, что было видно над крышей и до стены следующего, более высокого дома.

Я почти явственно вижу окно и потому, что оно участвовало в повторяющемся в детстве кошмарном сне, — через него с крыши въезжал в комнату большой черный фыркающий легковой автомобиль, грозивший раздавить меня и уничтожить всех и вся в комнате. Странно, что сновидение, как я его теперь вспоминаю, было похоже на кадры кинофильма: машина стремительно надвигалась, заполняя собой все окно, как экран кинотеатра, надо мной нависали бешено крутящиеся передние колеса и... я просыпался с криком и плачем. В кино меня тогда не водили. Да и не знаю, пользовались ли в середине 30-х годов подобными приемами в киноискусстве.

Может быть, мастерам кинематографа снились подобные сны? Да и вообще: исследована ли тема "Сновидения и кино"?

Двор дома я помню куда лучше, чем комнату. Может быть, потому, что там проходила более активная и самостоятельная часть моей жизни.

Восстанавливая сейчас зрительные образы двора, мне удастся наиболее отчетливо увидеть его мощение. Как и все маленькие дети, я смотрел больше вниз, чем по сторонам и вверх. Маленький рост позволяет малышам увидеть под ногами много интересного: букашек, мелкие красивые камешки и многое другое. Если повезет, можно найти блестящий металлический шарик, денежку. Так вот, наш двор, как и другие дворы старых домов, был покрыт сизыми квадратными туфовыми плитами, а в центре, на небольшом холмике, выложенном разновеликим и разноцветным бу-

лыжником, находилась цистерна – непременная принадлежность одесских домов доводопроводной поры.

Одним из моих главных занятий во дворе было бегать вокруг цистерны по скосу холмика, по округлым и скользким камням, стараясь не упасть. В этом заключался первый в моей жизни спортивный интерес. Больших успехов в этом виде спорта мне добиться не удалось. Я бесконечно падал, колени были сплошь покрыты кровью и сукровицей, но к удивлению дворового населения, это меня не смущало. Соседи не знали, что в раннем детстве я был почти совершенно нечувствителен к боли.

После одного печального приключения моя выдающаяся болестойкость дала повод родителям гордиться мной, а во мне зародила тщеславие. А случилось вот что. Мне подарили игрушечный барабан, и я его вскоре поломал. Отец кое-как починил барабан, используя скрепки от скоросшивателя, имеющие довольно длинные и острые металлические язычки. Все время бить в барабан мне было скучно, и я попытался развлечься при его помощи иначе: поставил на ребро и постарался стать на него. Барабан покатился вперед, я упал и угодил головой на починенное место. Скрепки вспороли мне кожу на лбу, так что она повисла лохмотьями и стала видна кость. Помню, как отец бежал со мной на руках на станцию скорой помощи, а я с любопытством смотрел, как крупные капли крови, падая на тротуар, разбивались красными звездами.

Когда хирург стал зашивать мне кожу на лбу, я поинтересовался, какими нитками он это делает: шелковыми или простыми. За мужество (которое вовсе не было мужеством, а странной нечувствительностью к боли в сочетании с детской глупостью) врач подарил мне две запаянные стеклянные ампулы, в которых в "зеленке", намотанные на вырезную фанерную дощечку, находились шелковые нитки, такие же, как в наложенных мне швах. Нитки были довольно толстые, и вероятно, поэтому у меня на лбу до сих пор большой, с пятикопеечную монету, шрам. Ампулы хранились у нас в доме до самой войны, и отец, хотевший, чтобы я был во всех отношениях необыкновенным ребенком, показывал их родным и знакомым, рассказывая всю эту историю.

Взрослея, я постепенно и незаметно стал реагировать на боль и вид крови, а сейчас мою реакцию, увы, можно назвать даже повышенной.

Двор нашего типично одесского двухэтажного дома постройки 30-40-х годов XIX века был опоясан на уровне второго этажа галереями. Они как бы стекали в дворовой многоугольник несколькими широкими деревянными лестницами. На ступенях этих лестниц девочки играли

в свои "женские" игры; готовили обед, баюкали детей, наряжали их. Мальчики расставляли в боевом порядке оловянных солдатиков, стреляли из игрушечных пушек.

Дом был густо населен, и детей было много. Но запомнились мне почему-то только три девочки: Тамара, Бэба и Саррочка. Первые две были старше меня, а Саррочка – моя ровесница. У Бэбы, живой и острой на язык, был большой лоб. У Тамары – спокойной, медлительной – бросались в глаза толстые, тяжелые косы. Она обещала вырасти в русскую красавицу кустодиевского типа.

Не помню, как зашел у меня с отцом несколько странный, учитывая мой возраст, разговор о красоте дворовых девочек. Но когда отец услышал, что, по моему мнению, Бэба красивая, а Тамара нет, он был очень удивлен и огорчен и долго и горячо доказывал, что большой выпуклый лоб, пленивший меня в Бэбе, вовсе не красит женщину.

Эмоциональная реакция отца по столь незначительному поводу объяснялась тем, что отец всецело посвятил себя моему образованию и воспитанию и хотел, как многие родители, чья жизнь не задалась, чтобы я добился того, чего не удалось добиться ему. Его заветной мечтой было стать писателем. Писателя из него не получилось. Оставалось надеяться, что писателем стану я. И вдруг такое отсутствие эстетического вкуса!

Саррочка была вся какая-то мелкая – и телосложением, и чертами лица, очень обыкновенная, но по-детски милая и, пожалуй, даже хорошенькая. Играть и разговаривать мне приходилось в основном с ней, т. к. других детей моего возраста во дворе не было. Иногда мы с ней ссорились, а однажды я столкнул ее с лестницы. Покатившись по лестнице, Саррочка зацепилась ноздрей за торчавший из починенной ступеньки гвоздь. Со слезами и воплями (моей болестойкости у нее не было), закапанная кровью, она помчалась жаловаться родителям. Те подняли скандал, кричали, что я изуродовал их единственную дочь, будущую красавицу, требовали, чтобы меня сильно наказали. Но отец не очень поддался нажиму и ограничился каким-то формальным наказанием. Тем более, что Саррочкин нос сильно не пострадал.

В начале пятидесятых годов я под влиянием мгновенного sentimentalного импульса зашел во двор, о котором сейчас пишу. Галереи и лестницы, цистерна и мощение – были на месте и, казалось, не очень поддались времени. Не было только крошечных узких клумб с настурциями, оживлявших когда-то двор.

Повидал я во время этого визита в раннее детство и Саррочку. Заму-

ченное косметикой лицо, закомплексованность: уже за двадцать, а нет ни мужа, ни образования. Возобновлять знакомство мне не захотелось.

Для моей семьи годы, прожитые на Островидова, были временем убожества и острой нужды. Отец работал счетоводом, получая соответствующую мизерную зарплату (жалованье, как тогда еще по-старому говорили). Мать не работала, сидела со мной дома.

О нашем жизненном уровне может дать представление с позволения оказать мебель, которую я помню лучше, чем одежду и еду. Мебель в комнате была таким же моим миром, как цистерна и лестницы во дворе. В непогоду и во время болезни я прыгал и кувыркался на кровати, прятался под столом, скакал на стуле – делал все то, что делали и делают другие дети. Кроме названных предметов, в комнате стоял еще грубо сколоченный из сосновых досок книжный шкаф – каркас и полки, покрытые красной политурой, без дверцы, без ножек. Полки этого вместилища были задержаны ситцевой занавеской, чтобы книги не пылились. Книги большого формата, в том числе роскошно изданная "Коронация Елизаветы" со множеством гравюр, а также с десяток гравюр на отдельных листах, хранились в кушетке. Из верхней, мягкой части кушетки сквозь прохудившуюся дерюгу сыпались опилки, которые приходилось сдувать, когда хотелось посмотреть на книжные сокровища.

Теперь это кажется забавным. А тогда контраст между великолепными фолиантами и окружающим убожеством не замечался. Книги радовали, а на быт не обращали внимания.

Я бедности нашей семьи совершенно не замечал, окруженный любовью и заботой родных и близких. Страдал я от болезней, даже не столько от болезней, сколько от неприятных процедур, входивших в систему лечения. Особенно ненавидел я мокрые согревающие компрессы, которыми лечили тогда столь частые у меня ангины.

И еще донимала меня скука.

Были у меня и игрушки, и книжки с картинками, и сказки мне рассказывали, и песенки пели. Но мне нужно было разнообразие и острые ощущения. И отцу приходилось придумывать для меня развлечения.

Когда мне было лет 5-6, мне пришлось несколько дней пролежать в больнице. Тускло, серо и уныло было в палате. Не радостно было и за окном – стояла слякотная одесская зима. Я впервые попал в больницу и сильно тосковал. Радость приходила только под вечер, когда за окном, идя с работы, появлялся отец.

Эгоистичный и эгоцентричный, как все дети, а может быть, даже больше других, я не мог осознать и оценить фанатичную любовь ко мне отца. Но что-то, что было в его взгляде, улыбке, я все же чувствовал, воспринимал и неизменно радовался его приходу. Двойные рамы больничного окна не позволяли нам поговорить, не позволяли отцу развлечь меня, что он делал изобретательно и неутомимо, когда я лежал больной дома.

И все же он нашел способ порадовать меня. В один из его приходов я увидел за окном костер. Огонь горел на небольшой дощечке, которую отец держал в руках, на уровне моих глаз. Время от времени он подбрасывал в огонь щепочки, которые заранее припас и насовал в карманы пальто. На дворе уже стемнело, а костер все горел и горел. И это запомнилось на всю жизнь.

В 1937 году мы переехали в дом № 29 по улице Подбельского. Этот дом находился через дом от цирка, и когда я объяснял, где живу, я неизменно так и говорил: "Подбельского, 29, квартира 6, через дом от цирка".

Я говорил так не только для того, чтобы легче было найти этот дом, но и потому, что благодаря близкому соседству с цирком дом этот в моих глазах был не совсем обыкновенным.

В этом большом доме – три этажа и подвальный, около пятидесяти квартир, – многие сдавали комнаты циркачам. По двору сновали лилипуты, через окно подвальной квартирки прачки тети Луши можно было наблюдать, как известный в то время акробат Лурих учит своим головоломным трюкам сына, Луриха-младшего. Все жившие в доме цирковые артисты были одеты нарядно, ярко, женщины (особенно лилипутки) носили немисливо экстравагантные шляпы, мужчины – броские галстуки. Мы, дворовые дети, находились все время в приподнятом, возбужденном состоянии. В доме как будто жил праздник.

Но и не зависимо от цирковой экзотики во дворе было весело и интересно. Дом был населен самыми разными людьми – так что, просто сидя летом на железных перилах, опоясывающих весь двор (они ограждали окна подвального этажа), можно было не скучать.

По двору проходили, иногда останавливаясь, чтобы переброситься парой слов со случайно встретившимися соседями, известный партизан Голубенко – большой мужчина, черноволосый, с тяжелой головой, обычно сопровождаемый женой – высокой, очень худой женщиной с неизменной папирсой в зубах, которая прямо с порога парадного хода могла войти в кадр кинофильма о гражданской войне, и, не переодеваясь, не гримируясь, ни в чем не изменяя своего облика и поведения, изображать комиссара.

Однажды утром по двору прошел слух, что ночью Голубенко "взяли". Несколько дней его не было, а потом он появился, и дети шепотом рассказывали друг другу, что его били большой бутылкой по голому животу (чтобы не осталось следов, – объяснил кто-то), добиваясь чего-то, а чего – я, семилетний мальчик, понять не мог.

Неосознанное эстетическое удовольствие доставлял нам, детям, красавец-артист Гороховский, когда легкой, быстрой походкой, элегантно одетый, выходил по вечерам из угловой парадной и пересекал двор. Восхищенными завистливыми взглядами провожали мы редко появлявшегося во дворе капитана дальнего плавания Кнаба – небольшого роста, крепкого сложения, еще довольно молодого. Он щегольски носил безукоризненно пригнанную, отутюженную морскую форму. Проходя по двору, капитан неизменно дружелюбно, понимающе улыбался ребятам.

Конечно, дом был населен не только партизанами и капитанами. Жила в нем и прачка тетя Луша, колченогая, еле передвигавшаяся, с узловатыми руками и неестественно бледным лицом. Не украшал дворовой пейзаж и ее муж, мрачный алкоголик. Обычно подавленно спокойный, и, что особенно поражало, не отвечавший ни на вопросы, ни на приветствия, – глухо молчавший, он вдруг впадал в состояние дикого необузданного гнева. Через окна, сплошно закрывавшиеся ставнями тетей Лушей и сыном этой четы Володей, слышался вполне членораздельный мат, что-то падало, разбивалось.

Не зрительно, а обонятельно помню дворника, дядю Алексея. Запомнился он запахом навоза, в те годы еще щедро рассыпаемого лошадьми на улице перед домом. Целый день ходил дядя Алексей с большим дворничьим совком и метлой, убирая дары битогов и извозчичьих лошадей. Может быть, он сушил навоз и потом топил им? Или продавал?

В центре двора росло шесть или семь деревьев – акаций и каштанов. Они были ограждены невысокой ажурной решеткой из проржавевшего железа. И вот однажды кто-то из детей постарше предложил устроить внутри ограды цветник. Для того чтобы это осуществить, нужно было перекопать и разрыхлить затоптанную за десятилетия землю и купить рассаду.

С землей мы, шумная орава исходящих энтузиазмом мальчиков и девочек, справились быстро. А вот сбор денег на рассаду (самую лучшую, самую дорогую, как мы решили) с жильцов дома, обязательно с каждой семьи, затянулся и превратился в увлекательную и отчасти поучительную затею.

Прежде всего открылось давно известное в этом мире, но нам не знакомое: богатые далеко не всегда щедрей бедных. Столкнувшись с этим, мы

были поражены, обескуражены, много говорили, спорили об этом психологическом феномене.

Весело гоняя по лестницам, перепрыгивая через ступеньки, упорно звоня и стуча во все квартиры, мы, в конце концов, заставили хоть что-то пожертвовать на общее благо даже упорно скупых, застали дома самых неуправляемых.

Цветник получился на славу, хотя просуществовал не очень долго. Наибольший урон сразу же стали наносить ему кошки (в доме было много "кошачьих мам"), для борьбы с которыми мы устраивали дежурства. Гоня кошек, некоторые дежурные в ажиотаже наносили им увечья. Это вызвало недовольство неформально существовавшего во дворе Общества защиты животных. Нарушали табу, наложенное на цветы, и некоторые дети.

А главное, постепенно иссяк энтузиазм.

Устройство цветника было единственным совместным действием дворовых ребят. А вот разделялись они на группы и партии – постоянно. То это были "казаки" и "разбойники", то дружина Александра Невского и немецкие "псы-рыцари".

Игра "Ледовое побоище" возникла под влиянием фильма "Александр Невский", и в ней я, благодаря отцу, был главным действующим лицом.

На работе у отца мне сделали из дерева и фанеры меч, щит (с геральдическими изображениями) и копьё, подобные тем, какими был вооружен русский князь в кинофильме. Затруднения возникли с плащом – неизвестно, какого цвета он был у Александра Ярославича. Доступные отцу книги не внесли ясность в этот вопрос. Тогда мы отправились по церквам, тем немногим, которые еще действовали, отыскивая икону святого Александра Невского. В одном из одесских храмов мы ее нашли. На иконе плащ был красным. Отец понимал всю апокрифичность, условность иконописного образа, но за неимением более авторитетного источника мне был сделан красный плащ из какого-то списанного по этому поводу кумачового флага.

Экипированный и вооруженный таким образом, я оказался вне конкуренции и изображал прославленного полководца, стоя на куче канатов, завезенных во двор в ожидании предстоявшего ремонта. Нагромождение свернутых канатов считалось Вороньим камнем, стоя на котором, новгородский князь руководил битвой.

В этой игре мне досталась почетная, но скучная роль: участвовать в сражении я не мог, так как вмиг от моей бутафории ничего не осталось бы. Так и торчал я на куче канатов неким символом.

В эти годы кино разными путями оказывало влияние на нашу детскую

жизнь. По много раз мы смотрели такие фильмы как "Ледяной дом", "Ку-карача", "Три поросенка", позже – фильмы с участием Любови Орловой, не производившие, впрочем, на нас большого впечатления. Кроме этого прямого и в целом благотворного воздействия, развитие кинематографии имело неожиданным следствием бурную детскую коллекционно-коммерческую деятельность.

Неизвестно, как и почему в 1938-1939 году началось повальное увлечение так называемыми "кинами", то есть вырезанными из киноленты кадрами. Почти никто из тех, чье детство пришлось на эти годы, не избежал этого увлечения (в № 16 "Альманаха" о "кинных" пишет Б. Резник). "Кины" покупались и продавались, обменивались, на них играли в "чет и нечет". Различались простые "кины" и "знатные". "Знатными" считались кадры цветных или особенно популярных кинолент. Одна "знатная кина" равнялась трем простым. Шли в дело и пустые или испорченные "кины". Из них делали, складывая особым образом, пишалки и ракеты.

Для того чтобы изготовить ракету, пачку "кин" заворачивали в несколько слоев бумаги так, что округлый продолговатый пакет имел с одной стороны небольшое отверстие, а с противоположной – утолщение. Поджигали ракету с узкого, имеющего отверстие конца. Выходящие с этого конца газы заставляли ракету двигаться: скакать и кружиться, иногда отрываясь от земли. Удушливый дым и стойкое зловоние вызывали, естественно, гонения на ракетчиков, так что эта забава была редкой, и потому особенно соблазнительной.

Мне удалось собрать довольно много "кин" – около семисот, и хранил я их, время от времени пересматривая и пересчитывая, в кожаной австрийской офицерской сумке – единственном трофее, сохраненном отцом от времени первой мировой войны.

Предметом особой гордости были для меня, уже почувствовавшего тягу к коллекционированию, неизвестно как попавшие в обращение, безусловно очень редкие и "знатные" цветные "кины" с изображениями сцен из жизни какого-то королевского двора со множеством рыцарей, придворных дам, замковых интерьеров. Фильм, где были такие кадры, у нас не шел, и отец по каким-то признакам определил, что это из немецкого фильма на тему "Песни о Нибелунгах".

Конец "кинным" развлечениям положило вмешательство милиции, начавшей решительную борьбу с хищениями кинолент киномеханиками и другими причастными к кинофикации лицами.

Вот главное, что запомнилось мне из дворовой жизни предвоенного

времени. Начавшаяся война все изменила. Дворовая жизнь в первые месяцы войны сосредоточилась на крыше и в подвале.

На крыше, конечно, было гораздо интересней, чем в подвале. На крыше можно было надеяться схватить специальными щипцами "зажигалку" – немецкую зажигательную бомбу – и бросить ее в специально заготовленные большие ящики с песком. Но не помню, чтобы это хоть раз произошло. Взрослые загоняли нас, детей, в подвал, как только объявлялась воздушная тревога. А вот осколки бомб или зенитных снарядов мы находили на крыше довольно часто. Осколки обычно попадались небольшие, бесформенные и оплавленные, но иногда кто-нибудь оказывался счастливым обладателем осколка, похожего на кристалл, хотя и с неровными, зубчатыми гранями. Такие осколки имели темный, почти антрацитовый блеск, были по-своему красивы. Нашедший подобный осколок очень им гордился, всем показывал и, несмотря на зачастую солидный размер и вес, все время таскал в кармане.

Много времени, особенно вечернего, мы проводили в подвалах, т. е. в подвальных квартирах, куда, кроме их постоянных обитателей, набивалось еще несколько десятков человек.

В полутьме, тревожно прислушиваясь к взрывам и стрельбе, взрослые тихими голосами пересказывали друг другу последние известия с фронта, а больше всевозможные слухи о разбомбленных кораблях с эвакуированными, о том, что скоро совсем не будет воды, и о многом другом. Дети же, облюбовав один из углов подвальной комнаты, рассказывали друг другу сказки. Но чаще играли в карты (в "простого" или "подкидного" дурака), хотя из-за светомаскировки с трудом можно было рассмотреть масть и достоинство карты.

Мы, дети, совершенно не испытывали страха. Скорей приятное возбуждение, вызванное необычностью обстановки. Отсутствие страха объяснялось не только особенностями детской психики, но и тем, что в первый месяц войны жилые кварталы города мало подвергались бомбежке, убитых и раненых мы не видели.

Ровно через месяц после начала войны отца мобилизовали. Фашисты приближались к городу. Появилась угроза блокады. Началась массовая эвакуация.

Отец, прощаясь со мной и матерью, настоятельно советовал нам уехать. Он очень боялся, что если мы останемся в Одессе, которую раньше или позже оккупируют, он, находясь в армии, ничего не будет знать о нас. Для него это было непереносимо. И хотя многие родственники и друзья советовали остаться, решено было эвакуироваться.

Кончилось одесское довоенное детство.